

ДАРЬЯ ВИЛЬКЕ
ШУТОВСКОЙ
КОЛПАК



Встречное движение

Дарья Вильке
Шутовский колпак

«Самокат»

2012

Вильке Д.

Шутовский колпак / Д. Вильке — «Самокат»,
2012 — (Встречное движение)

ISBN 978-5-91759-284-8

Шут – самая красивая кукла театра. Шут – это Гришка, потому что он не такой, как другие. И Лёлик, гениальный кукольный мастер, – тоже Шут. Но самый главный Шут – актер Сэм, из-за своей инаковости живущий как на пороховой бочке. Его Гришка и дерзкая Сашок обожают с малолетства. Но вдруг все меняется: Сэм уезжает в толерантную Голландию, Лёлика отправляют на пенсию, Шута продают в частную коллекцию. И Гришке, чтобы найти себя, придется понять: что важнее – быть «нормальным» или самим собой? Надо ли соответствовать чему-то «правильному»? И кто решает, что «правильно»?

ISBN 978-5-91759-284-8

© Вильке Д., 2012

© Самокат, 2012

Содержание

I. Театральные дети	6
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Дарья Вильке

Шутовский колпак

Для старшего школьного возраста

Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с письменного согласия издательства.

© Вильке Д., текст, 2012

© ООО «Издательский дом «Самокат», оформление, издание на русском языке, 2016

* * *

Маме и папе, без которых не было бы никакого театрального детства, и Стэнли Бёрлсону, без которого не было бы этой книги.

*«Эй, дорогу шире, шире!
Раступитесь – шут идет!»*

I. Театральные дети

– На котурнах все – легче легкого. На котурнах ты летишь. А вот попробуй-ка без них.

Свет круглых, как елочные шары, лампочек над гримировальным столиком дрожит – будто старый театр подслеповато щурится. Или вдруг подмигивает Сэму, соглашаясь с ним.

Театр пахнет остро – как дорогой сыр – из открытой коробочки с гримом, театр пахнет сладко, как ванильное печенье – бежевой пудрой, которой осталось меньше половины в баночке со стершейся позолотой.

Кожаные, щегольские, на шнуровке и высокой платформе, ботинки-котурны проглаживают ступню Сэма.

Котурны – чтоб быть выше, говорит Сэм, как будто я этого и без него не знаю. Он говорит так буднично, будто бы ничего и не случилось – будто он только что и не сказал, что уезжает навсегда.

И нога, и длинные, как у восточного факира, пальцы Сэма, завязывающие шнурки – вдруг смазываются, расплываются, расплывается свет лампочек над гримировальным столиком, горячим вскипает в уголках глаз.

– Ты чего, Гринь?

Мужик ты или кто – сказал бы дед и может быть даже сплюнул в сердцах. Пацаны не плачут – сказал бы Антон – ты все-таки какой-то не такой.

Но в театре можно все, если ты тут живешь.

Даже плакать, пусть ты и мальчишка.

Только я не буду плакать – при нем. Чтобы Сэм не понял.

Не понял, как я расстроился.

Лицо Сэма плывет, уже не видно ни широких бровей, ни загримированных к вечернему спектаклю глаз.

– Ты *чего*?

– Я сейчас, Сэм...

Театр распахивает все двери, убирает все пороги и притолоки, чтоб я не споткнулся и не расшибся. Глаза уже ничего не видят – но я знаю, что Сэм смотрит мне вслед. И вслед несется джаз, догоняет меня, чтобы поднять над землей и помочь бежать. Сэм всегда, когда гримируется, слушает джаз – тихо, чтоб никому не мешать.

В театре есть только одно место, где можно плакать – и тебя никто не увидит. Никто не станет надоедать, не станет встревоженно или фальшиво спрашивать «кто тебя обидел, Гриш?», а тебе не надо будет огрызаться – «да я сам кого хочешь обижу!».

Пробеги мимо старинного клавесина с ненастоящими свечами, мимо Холодного Кармана – если в нем открыта дверь, по ногам тянет ледяным – в котором огромные декорации, прошмыгни мимо женских примерок и костюмерной.

И юркни в маленькую дверь.

Все – теперь нырнуть в проход между тонкорукими феями и одутловатыми масками, сесть около Шута. Теперь пусть лицо мокрое – чепуха.

Я сижу и ненавижу всех: Сэма – за то, что уезжает, эту его Голландию, своих маму с папой – за то, что даже не попробовали его отговорить, весь театр – за то, что всем все равно, людей, среди которых Сэм не может жить. И себя – себя ненавижу больше всего, потому что распустил нюни, как маленький, и не знаю, как же я буду дальше.

В комнате, где висят куклы, всегда пахнет деревом, клеем, складками парчовых платьев, конфетными обертками и... чудом. Сюда заходят только костюмеры да театральные дети.

Театральные дети – это я да Сашок. Дети, в общем. Так нас называет театральный сторож Альберт Ильич.

Я сижу и жалею себя – жалею, пока не надоедает.

Это ведь только кажется, что тут я один. С куклами никогда не выходит побыть одному. Как себя жалеть в комнате, где полно народу?

На большой стойке-вешалке прямо у входа висят и сторожат, чтобы никто чужой не вошел, маски и ростовые куклы, в которых помещается целый человек. И серый Мышиный король со злыми глазами и блестящим выпуклым носом, и толстяк с головой-тыквой, и косматая Баба-Яга. Висят куклы – с раскрашенными, яркими лицами, с шелковыми рюшами и в аккуратных башмаках. Они разные – двух одинаковых не найти.

Кто-то иногда удивляется, что на кукольной сцене еще маски и люди, но в большом кукольном театре есть место всем – и марионеткам, и петрушкам, и маскам, и актерам, загримированным до неузнаваемости.

Папа говорит, это называется синтетический театр.

Сзади, забытые всеми, висят мои любимцы – куклы из спектаклей, которые исчезли со сцены. Грустный Лошарик, Маленькая Фея с тонкими руками и в чудном платье.

Строго смотрит на тебя Оловянный солдатик, вытянувшись в струну. Участливо глядит пузатая Мышь из спектакля «Все мыши любят сыр». Насмешливо поглядывает Шут в разноцветном колпаке.

О! Я ведь и забыл совсем – Шут скоро будет моим!

Разнюнился и забыл.

«Хрустальный башмачок» будут списывать, сказал ведь сегодня Лёлик.

Все спектакли рано или поздно списывают – и кукол тоже.

Я всегда мечтал о Шуте. Потому что Шут – это я. Я передразниваю в школе учителей, говорю их голосами, я шучу над ребятами, я – «Гришка-язва».

Я – шут для других.

Как он, прямо как он.

Шут – это Сэм.

Так я всегда думаю, когда беру его за руку. Ладонь у него гладкая, уютная, она тихо лежит в моей руке. Телячьи нежности не для мальчиков, но его за руку – можно. Тогда он насмешливо наклоняет голову, так, что становится видно крючковатый нос с горбинкой и подмигивает мне – «видал-миндал?» – и глаза у него ясные, будто не ждет он тут, за сценой, на стойке-вешалке для кукол уже битый час, пока ему можно будет поработать.

– Сэм, на выход! – страшным громким шепотом кричит обычно, когда играют «Башмачок», помреж Вика куда-то вниз и вбок.

И вот Сэм, накидывая на голову сетку специального костюма для «черного кабинета», бежит, хватая Шута за крестовину-вагу – и тут же натягиваются жилы-нитки. Неуклюже дергается его рука, переступают ноги, чтобы выйти из-за кулис туда, где полный зрительный зал. Тогда Шут становится даже не таким живым – обычной становится марионеткой на обычной сцене. Мелькают лоскуты на шутовском колпаке – багряные, васильковые, крыжовенные.

Шут смеется и поет – и Сэм растворяется в нем, он заслоняет Сэма, будто того и не было никогда, а были только черные глаза и улыбка шельмы, слепленная для Шута когда-то театральным кукольным мастером Лёликом.

На самом деле Сэма зовут Семён. Но однажды кто-то сказал – «Сэм» и все подхватили. Потому что Семён, это хоть и красиво, но как-то не по-театральному. Если даже увидеть его не на сцене, а вечером, после спектакля, у актерского выхода, то понятно: Сэм. Красавец и модник. Небрежно обмотанный вокруг шеи шарф, поднятый воротник летчицкой куртки,

вельветовые штаны-клеш и круглоносые ботинки – Сэм и все тут. На сцене он и вовсе меняется.

Нет, он меняется даже уже перед сценой. Когда я был маленьким, я старался оказаться в это время рядом с Сэмом. Старался не пропустить миг, когда он появится из гримерки, чтобы бежать на выход.

Я не отрываясь смотрел, как он идет, ловя момент превращения Сэма в кого-то другого.

И я всегда пропускал этот момент, миг, когда он будто переступал какую-то невидимую черту на полу коридора, ведущего от гримерок к черным дебрям занавеса.

Я видел только, что кто-то другой уже поселился внутри Сэма, что он и ступает уже совсем по-другому. И кажется, даже ладони, даже крепкий сэмов затылок и гибкие плечи становятся пластилиновыми, чужими. Меняются до неузнаваемости.

И мне было всегда жутко видеть Сэма переступающим из закулисной тени в свет сцены, хотелось дотронуться до него, чтобы убедиться – это все-таки он.

На сцене его лицо переплавляется в сотни других лиц – молодых и старых, мягких и заостренно-злых.

На сцене он умеет ходить мягко, крадучись, словно большая капризная кошка, и угловато и неловко, словно каждый шаг дается ему с нечеловеческим трудом. Он умеет влетать на сцену, едва касаясь пола, обтянутого черным сукном – будто сам и не весит ничего. Он умеет делать красивым всё вокруг и даже в самом уродливом гриме быть таким, что перехватывает дыхание.

Когда он играет черта в одном из спектаклей, я каждый раз замираю в одном и том же месте. Потому что Сэм разворачивается на каблуках, ловко, будто хочет закрутиться волчком, раскидывает руки, запрокидывает голову. Полы алого сюртука распускаются цветком – а он вдруг останавливается и хохочет – и смех этот густой, он идет из самой сердцевины. От него, кажется, дрожит воздух вокруг Сэма, смех пропитывает и кулисы, и всех, кто сидит в зрительном зале, и меня. Он сочится, пробирается прямо внутрь и все в тебе теплеет, как после чаю с медом. Смех бежит горячим по венам, пронизывает насквозь, он словно впитывается в тебя до самых пяток, он впечатывает мои пятки в землю, соединяет меня с ней будто навсегда.

Вот так умеет Сэм.

Ведь Сэм – Шут, я точно знаю. Самый настоящий, самый первый, самый правильный шут. Шут – это его кукла. Его роль – которую он играет лучше всех.

Когда я просил отдать мне куклу, я ничего не знал про Голландию.

Не знал, что Сэм скоро уедет навсегда.

А теперь ужасно рад, что выпросил Шута. Так у меня останется хоть что-то от него.

Шут – самая лучшая кукла Лёлика, он сам так говорит.

Лёлик, конечно, тоже шут.

Он был здесь еще до моего рождения. И до рождения всех кукол. Кажется, что ему сто лет и он столько всего перевидал, что на каждое слово у него находится история.

Дверь в театральные мастерские – к Лёлику – всегда открыта. В холле перед дверью – шум и гам, а за порогом – другой, волшебный мир.

Только шагни на разошедшиеся, но крепкие ступеньки, ведущие круто вниз, только пригнись легонько, потому что над головой – старинный сводчатый потолок – и сразу запахнет свежей бумагой, клеем, липовой и березовой стружкой, шоколадными конфетами, которые тут всегда к чаю, кисловато-остро – краской и непонятно отчего, сеном.

Лёлик – он всегда сидит тут, на высоком стуле, поворотясь как-то так хитро, что ему видны и люди, спешащие по своим делам по московским улицам за окном, и раскрытые двери, за которыми – вечная актерская суeta. Лёлик улыбается широким, до ушей, ртом чему-то там в себе, лоб морщится, ходит волнами, очки его совсем съехали на кончик огром-

ного с горбинкой носа, он склонился над кукольной головой, и кажется, что он – сказочный горбун. Руки у Лёлика словно вырубленные из дубового пня, пальцы все разные, будто бы кто-то неумелый, делая куклу, понатыкал пальцев от пупсов и фарфоровых кукол, тряпичных петрушек и деревянных старинных шелкунчиков. Неуклюжие на вид руки – но это обманка. Так, как Лёлик, никто больше не сможет выточить пальчики для Золушки, нарисовать прищуренный глаз Коту в сапогах и вклеить волоски в брови Оловянному солдатику.

Мы сидели сегодня в мастерской и дули на чай – вот тогда-то Лёлик и сказал – «Хрустальный башмачок» будут списывать. Еще до Нового года.

А кукол куда – спросил я. Куда Золушку и манерную Королеву-мать, куда Фею и Шута? Лёлик только пожал плечам – куда обычно.

Обычно актеры разбирают списанных кукол домой – у нас дома, к примеру, на шкафу в холле, сидит лысый царь Мидас в малиновом хитоне и лежат огромные маски: бабушки в очках и мышиного цвета чепце и синеглазой девочки из «Трех медведей».

– Можно мне забрать Шута, когда его спишут? – почти заорал я, увидев в коридоре Колокольчикова, Олежку, нашего художественного руководителя.

Почему-то я знал, что Шут обязательно, просто обязательно должен оказаться у меня. Да-да, рассеянно сказал Олежка, даже не глядя в мою сторону, да-да, конечно, берите. Так мне разрешили забрать Шута...

– Ты тут? Чего спрятался?

Я так и знал, что Сашок найдет меня даже в кукольной комнате.

Стоит и таращится своими круглыми глазищами.

– Ты что – ревел? Совсем дурак, что ли?

Сашок – моя крестная сестра.

Лелик говорит, что так не бывает – а у меня бывает.

Папа Сашка – мой крестный и крестили нас с ней вместе. Мы уже были, правда, большие.

Я всегда хотел, чтобы у меня была сестра – и мне нравится думать, что Сашок – именно сестра, хотя наши родители и не родные, а просто дружат.

Если кто в школе зовет меня «Гришка-клоун», «Гришка-язва», тот просто не знает, какой бывает Сашок. Вот уж кто язва – скажет иногда чего, как припечатает.

Тогда я не знаю, куда деваться, и с ужасом чувствую, как щеки заливают кипятком, как краснеет даже кожа под волосами.

«Гриня – красна девица», – говорит тогда Сашок, и правый уголок ее рта чуть вздергивается, как у одной из кукол Лёлика. И она сразу смотрит в сторону, словно красномордый я – это выше ее сил.

– Чего ревел-то?

Если увидеть нас на улице, со спины, к примеру, то можно запросто перепутать, кто из нас мальчик, а кто – девочка.

Сашок – стриженная под мальчишку, угловатая, ушастая, она идет и энергично размахивает руками. А я не люблю бежать, мне хочется идти, почти танцуя. «Одуванчик», – говорит иногда Сашок ласково и дотрагивается до моих волос, будто это и правда пух одуванчика, готовый вот-вот улететь, а не просто лохматая кудрявая шевелюра, непонятно от кого мне доставшаяся.

Сашок словно бы и гордится, что у нее нет ни косичек, ни глупых кукол-принцесс.

«Спасибо большое маме-папе, что принесли меня из роддома в зеленом одеяле!» – любит говорить Сашок, подчеркивая, что все эти глупости с розовым-голубым – не про нее.

И я ее очень люблю – за то, что она не наряжается в принцессу и не просит родителей купить ей розовое платье, похожее цветом на липкую розовую вату в парке отдыха. И за то, что с ней можно говорить запросто и про все – ну как с таким же как ты, не как с девчонкой. И за то, что язвит, тоже, наверное, люблю – она ведь не хочет обидеть, она просто такая.

– Ну давай, говори!

Сашок просто так не отстанет, я знаю. Поэтому лучше сразу признаться.

– Сэм сказал, что уезжает в Голландию. Навсегда. Работать там, жить, насовсем, короче.

– Понятно, – сказала Сашок и села рядом со мной на деревянную приступочку-ступеньку.

Помолчала.

Вдохнула глубоко – запах конфетных оберток, стружек и парчовых кукольных костюмов. А потом выдала:

– А я на операцию иду. После дня рождения.

У Сашка что-то с сердцем – какой-то там синдром, названия которого я никогда не помню. «Ничего страшного, просто сердцебиения». Когда-то ей сказали, что может быть, понадобится операция, если сердцебиения будут надоедать.

Синдром у Сашка с самого детства – поэтому губы у нее часто совсем голубые, как будто их в шутку вымазали акварельными красками.

Мне всегда было интересно – как это, сердцебиение? Чтоб надоедало?

«Ну это как будто у тебя внутри заперли придурочную птицу и она бьется там, а вылезти не может», – сказала Сашок однажды без тени улыбки.

Мне всегда казалось, что операции – это очень страшно. Я никогда не лежал в больнице – будто бы, как Шут, был сделан не из того же, из чего все люди.

Только вот Сашок другое дело, она не я, она бесстрашная. Или, может быть, просто делает вид, что бесстрашная.

– Они мне говорят, что операция безопасная, ничего серьезного. Но я почему-то думаю, что все это неправда.

Она посмотрела на меня – быстро, будто не хотела, чтобы я увидел ее глаза.

– Я боюсь наркоза. Вечером лежу в постели и думаю – а вдруг я завтра не проснусь. Не хочу тогда засыпать, ну стараюсь не закрыть глаза, пока можно терпеть. А потом – раз – не хочу, а засыпаю. И на следующий вечер все снова.

Я не знал, что сказать. Если Сашок призналась, что ей страшно, значит ей *очень* страшно. И поэтому просто, чтоб порадовать ее, выпалил:

– Представляешь, «Хрустальный башмачок» скоро спишут – любую куклу можно будет себе забрать.

Я думал, она заберет Золушку – или, к примеру, Королеву, они такие красивые, что иногда тянет зажмурить глаза, потому что те не выдерживают этой красоты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.